

Викентий Викентьевич Вересаев

Как работал Гоголь

Викентий Вересаев Как работал Гоголь

Ю. Фохт-Бабушкин. Примечания // В. Вересаев. Собрание сочинений в четырёх томах. Том 4. — М.: Правда, 1990. — 532-559. — Тираж 1700000 экз.

Как и при публикации «Пушкина в жизни», кажется интересным дополнить «свод свидетельств современников» собственными размышлениями В. Вересаева о Гоголе. В брошюре «Как работал Гоголь» (она издавалась дважды московским издательством «Мир» — в 1932 г. и 1934 г.); В. Вересаев зачастую обращается к тем же материалам, что и в «своде свидетельств современников», но в данном случае использует их для изложения собственного вполне определенного взгляда на Гоголя, т. е., по сути, комментирует свой «литературный монтаж».

Ниже приводятся выдержки из брошюры.

Оскар Уайльд где-то говорит: «Жизнь крупных писателей на редкость неинтересна: они совершенно выдыхаются в своих книгах, для жизни ничего не остается. Маленькие писате-

ли в этом отношении куда интереснее». Среди неинтересных писательских биографий биография Гоголя выдается своею сугубою неинтересностью и серостью. Внимательнейшим образом проследишь ее, — и воспоминанию совершенно не на чем остановиться. Только и остается в памяти, как Гоголь готовил макароны, да как ломался и капризничал, прежде чем сдаться на упрасивания поклонников прочесть что-нибудь из своих произведений. Бледным, золотушно-вялым призраком проходит Гоголь через жизнь. Никаких общественных исканий, никакого бунтарства даже в ранней юности; никакой страсти, никакой даже самой обыденной любви к женщине; нелюбовь к жизни, брезгливое желание замкнуться от нее, уйти подальше...

Полное «бесприисшествие», говоря языком самого Гоголя. Но не только жизнь серая и тусклая. Читая биографию Гоголя, мы с изумлением наблюдаем, что в собственной жизни своей величайший наш сатирик проявлял себя точно так, как проявлялись бы выброшенные им в мир на вечное осмеяние Чичиков, Хлестаков, Ноздрев, Манилов. Дела свои Го-

голь устраивает с небрежливой ловкостью Чичикова, пускает в глаза пыль с упоением Хлестакова, завирается совершенно, как Ноздрев, строит сентиментально-фантастические планы с наивностью истого Манилова.

Двадцатилетним молодым человеком Гоголь приезжает в Петербург. Ищет места, нуждается. Выпустил под псевдонимом свою поэму «Ганц Кюхельгартен», где говорит в предисловии, как будто от лица издателей: «Мы гордимся тем, что по возможности спешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта». В журналах жестоко высмеяли и предисловие, и саму поэму. Гоголь бросился по книгопродавцам, отобрал свою книжку и сжег ее. В это время мать прислала ему из полтавской своей деревеньки 1450 рублей, с величайшим трудом ею сколоченные, для внесения в Опекунский совет в качестве процентов за заложенное имение. Гоголь присвоил эти деньги и уехал с ними за границу. Пробыл около месяца в Германии и воротился в Петербург. В покаянном письме к матери он писал:

«Я в Петербурге могу иметь должность, ко-

тору и прежде хотел, но глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали. Я слово дал, что больше не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно».

Однако очень скоро опять начинает просить у матери денег. Место он получил, но с недостаточным жалованием.

«Теперь остается мне спросить вас, маменька: в состоянии вы выдавать мне в каждый месяц по сто рублей? Но, сделайте милость, говорите точную правду. Если это будет не по состоянию вашему, если через это вы принуждены будете отказывать себе в необходимом (как будто он сам не знает, что это так и будет!), — о, в таком случае я решусь пожертвовать всеми выгодами службы, решусь бросить Петербург, где, может быть, я бы составил себе счастье, короче, — все сделаю, на что только возможно решиться, лишь бы не навелась новых огорчений и забот вам!»

Пользуется вспоможениями живущего в Петербурге богатого родственника А. А. Трощинского и пишет о нем матери:

«Всевышний послал мне ангела-спасителя

в лице нашего благодетеля, его превосходительства Андрея Андреевича, который сделал для меня все то, что может только один отец для своего сына; его благодеяния и драгоценные советы навеки запечатлеются в моем сердце» и т. д.

А Б в следующем письме к матери пишет:

«Незадолго перед сим вручил я письмо к вам Андрею Андреевичу, по его требованию, в собственные его руки, незапечатанное; следовательно, вы не подивитесь, если я в нем немного польстил ему. Впрочем, он точно для меня много сделал».

Просит мать высылать ему, если попадутся, всякие древности, старинные стрелы, находимые в реке Пеле и т. п. «Сделайте милость, пришлите их. Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи».

В свете приведенных фактов не так уже невероятным представляется и сообщение известного казенного журналиста-доносчика Фаддея Булгарина, опубликованное им через два года после смерти Гоголя и так возмутив-

шее друзей Гоголя, — о том, как молодой Гоголь явился к Булгарину с хвалебной одою в его честь, и как Булгарин определил его на службу... в Третье Отделение.

В 1832 году, уже автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Гоголь приезжает в Москву — и в подорожной своей делает подчистку: вместо «коллежский регистратор» (один из самых мелких чинов) пишет: «коллежский асессор» (штаб-офицерский чин, которым так гордится Ковалев в гоголевском рассказе «Нос»). И это с той целью, чтоб под таким чином фигурировать в списке приехавших, публиковавшемся в «Московских Ведомостях». Ну, чем не Хлестаков?

Выпускает в свет «Арабески» и, совсем как бы мог сделать Чичиков, пишет Погодину: «Пожалуйста, напечатай в «Московских Ведомостях» об «Арабесках» в таких словах: что теперь, дескать, только и говорят везде, что об «Арабесках», что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (*нотабене*: до сих пор ни гроша барыша не получено)».

В 1833 году уверяет Пушкина, будто три го-

да назад ему. Гоголю, неизвестному молодому человеку 21 года, помощнику столоначальника в Департаменте уделов, предлагали профессорскую кафедру в Московском университете. Это вроде того, как Ноздрев уверял, что руками поймал за задние ноги зайца.

В 1836 году Гоголь уезжает за границу. Средств у него мало. И вот, через своих влиятельных друзей, он начинает выпрашивать под самыми разнообразными видами у разных царственных особ всяких вспомоществований себе. Он пишет Прокоповичу: «Узнай у Плетнева, получил ли он от Жуковского что-нибудь, что мне следовало от государыни за поднесение экземпляра моей комедии». Пишет письмо царю с просьбою о назначении ему пенсии и поручает Жуковскому подать письмо. Получает пять тысяч рублей. В 1845 году, по представлению друга Гоголя, А. О. Смирновой, царь назначает ему содержание по тысяче рублей сер. в течение трех лет и т. д.

И вообще дела свои он устраивает с обычной небрежливостью. В 1842 году Плетнев пишет Гроту: «Пришел ко мне Никитенко и

показал письмо из Рима от Гоголя, который рассыпается перед ним в комплиментах, потому что Никитенко цензирует его сочинения. Я краснел за унижение, до которого в нынешнее время доведены цензурою авторы: они принуждены подличать перед людьми... Что, если некогда это письмо Никитенко напечатает в своих мемуарах? Не таковы были Дельвиг и Пушкин».

Вечный приживальщик. Гоголь живет, ничего не платя, у своих друзей и поклонников. В дневнике своем Погодин раздраженно отмечает, что Гоголь живет у него и совершенно не интересуется тем, что ему, Погодину, приходится кормить двадцать пять человек. Гоголь жестоко рассорился с Погодиным; живя в одном доме, они не разговаривают и общаются письмами. Однако Гоголь продолжает жить у Погодина. Когда он, наконец, уехал, Погодин писал ему: «Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч». В 1849 году Гоголь пишет графине А. М. Виельгорской: «За содержание свое и житье не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у

другого. Приеду к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки».

И непреодолимая тяга к великосветским знакомствам. Кроме нескольких старых друзей, теперь почти все его корреспонденты — особы титулованные и сановные: губернаторша Смирнова, граф и графиня Толстые, графини Виельгорские, графиня Сологуб, княжна Репнина, дочь жандармского генерала Балабина и т. д. Друзья с грустью отмечали в письмах к самому Гоголю эту тягу его к знатным домам. А со старыми знакомыми он был холоден. В молодости он был в близких дружественных отношениях с соседкой по их имению, А. Ф. Тимченко. «В 1848 году, — рассказывает биограф Гоголя Шенрок, — Гоголь обошелся при встрече с нею сухо и неприветливо».

Прекраснодушная вера в людскую отзывчивость — чисто Маниловская. В 1846 году Гоголь замышляет новое издание «Ревизора» с написанным им прибавлением «Развязка Ревизора». Поручает сделать сразу два издания — одно Шевыреву в Москве, другое Плетневу — в Петербурге, и на издании пометить:

«в пользу бедных». Он убежден, что издания пойдут хорошо, — «особенно когда узнают, с какою целью книга издается». Главным актерам в пьесе, — Щепкину в Москве, Сосницкому в Петербурге, — дает такое поручение: «По окончании пьесы, когда вас вызовут, вы, раскланявшись с публикой, скажите ей, что не угодно ли ей купить «Ревизора», который продается, при выходе из театра, в пользу бедных, по рублю серебром. Кто же пожелает дать больше, тот вручал бы деньги вам самим и покупал бы лично из ваших рук».

Переписка Гоголя, особенно во второй половине его жизни, производит впечатление удручающее. Редко-редко ослепительно яркие взблески, в общем же — какая скука, какая фальшь, какое самообожание! Бесконечные холодные проповеди на божественные темы, старчески-назойливые наставления всем, кто просит и кто не просит. Правильно говорит Тургенев: «О, какую услугу оказал бы Гоголю издатель, если бы из писем, опубликованных после его смерти, выкинул целые две трети или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам. Более противной смеси

гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона — в литературе не существует!» И даже критик Аполлон Григорьев, напечатавший в свое время 4 восторженнейшую статью по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», писал, ознакомившись с опубликованной после смерти Гоголя его перепиской: «Одна треть моего уважения к Гоголю уплыла вслед за его перепиской, так искренно разоблачающей всю неискренность этой натуры».

Все это так. Да и сам Гоголь говорит: «во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке».

Но это только одна сторона дела. Есть другая.

В 1843 году Гоголь пишет из Рима одному из своих друзей, московскому профессору Шевыреву:

«Вследствие устройства головы моей я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не

может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня...» И он просит московских своих друзей взять на себя на три или на четыре года все его житейские дела и обеспечить его материально на это время, чтоб он мог окончить «Мертвые души». «Верь, — пишет он Шевыреву, — что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений... Вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда... Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми, не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Много у меня пропало через то времени, за которое не знаю, чего бы не заплатил; я так же расчетлив на него как рассчитываю на ту копейку, которую прошу себе. У меня уже давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья... Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы ни

было виде были мне даны, я их благодарно приму». И в письме к Жуковскому: «Теперь я живу и дивлюсь сам, как живу, во всех отношениях ничем и не забочусь о жизни и не стыжусь быть нищим»... В письме к Плетневу он с горечью пишет: «Теперь мне всякую минуту становится понятней, отчего может умереть с голода художник, тогда как кажется, что он может большие набрать деньги».

И мог бы умереть, и мог бы набрать большие деньги, если бы полегче относился к своему писательскому призванию. Но для Гоголя писательство его было, действительно, великим «душевым делом». Он не мог, — органически не мог, если бы даже хотел, — «халтурить», говоря современным словом. И не только не мог халтурить, а просто не мог даже остановиться на обработке своего произведения, не доведя его до возможных пределов совершенства. Основное требование к себе, от которого никогда не мог уклониться Гоголь: «производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа».

А для этого необходимо спокойствие, необходимо время, отсутствие спешки. Гоголь пишет Аксакову: «Если бы вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку!» — «Всякая фраза, — пишет он цензору Никитенке, — досталась мне обдумываниями, долгими соображениями; мне тяжелей расстаться с ней, чем другому писателю, которому ничего не стоит в одну минуту одно заменить другим».

Взыскательность к себе Гоголя была поистине изумительна.

Беранже говорит в своей автобиографии: «ничто в такой степени не просвещает писателя, как пламя его рукописей, мужественно брошенных в печку». Вся творческая жизнь Гоголя освещена этим благородным пламенем. Еще в молодости он предал сожжению свой роман «Гетман», «потому что сам автор не был им доволен». Уничтожил комедию «Владимир 3-ей степени». Два, по-видимому, раза сжег второй том «Мертвых душ» (не считая предсмертного третьего сожжения)...

Гоголь был очень самолюбив, — даже исключительно самолюбив, полон был самого

важного самообожания, чувствовал себя каким-то божеством, призванным изрекать непреложные истины. Это, однако, не мешало ему жадно, настойчиво искать критики самой строгой и беспощадной, потому что выше всякого самолюбия для него стояло совершенство его произведения, и в отзыве самого глупого человека он считал возможным найти что-нибудь для себя полезное. О, как это редко-редко встречается среди писателей! Мне много за жизнь свою приходилось знать писателей очень крупных. Пока он молод, — он ищет критики, внимательно ее выслушивает. Но вот пришла слава, пришло всеобщее признание, — и критика начинает его только раздражать, глаза становятся скучающими, губы нетерпеливо поджимаются, — и верная жена спешит перевести разговор на посторонние предметы. А вот как Гоголь:

«Вы напрасно негодуете, — пишет он, — на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души»: это имело свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает все; но кто

озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко наружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом писать. В самом деле, если бы я не торопился печатанием рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было явиться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мною были мне нужны, несмотря на то, что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрепятственные щелчки и этот оскорбительный тон, и эти едкие, проникающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку».

И это у Гоголя были не слова. Письма его переполнены призывами к друзьям о критике самой жесткой и самой откровенной. «Мне все должно говорить больше, чем кому-либо другому, нужно указывать мои недостатки». — «Сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно». И так без конца. Он при чтении зорко вглядывается в лица слушателей, чутко ловит еле уловимые впечатления. «То, что я увидел в самом молчании их и в легком движении недоумения, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, — пишет он Аксакову, — то принесло мне уже на другой день пользу, хотя бы оно принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления... Человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен». С полным правом Гоголь мог сказать о себе: «У меня есть одна добродетель, которая

редко встречается на свете и которой никто не хочет узнать у меня. Это — отсутствие авторского самолюбия и раздражительности».

Он с нетерпением выслушивает восторженные похвалы друзей. «Ну, ну! А отрицательные стороны, — что же вы на них не указываете?»...

Еще в 1835 году, по поводу выпущенных Гоголем «Миргорода» и «Арабесок» Белинский отмечал, что Гоголь относится к числу тех художников, которые с каждым новым произведением возвышаются и крепнут. Это — так, и в главной мере это обуславливалось строгостью отношения к себе Гоголя. Все уже написанное им его не удовлетворяло, он готов был отказаться от него, чтобы идти вперед и вперед.

В 1833 году он пишет Погодину: «Вы спрашиваете о «Вечерах диканьских». Черт с ними! Я не издаю их (вторым изданием)... Я даже позабыл, что я творец этих вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Да обречутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня».

Уже автором «Ревизора», на дороге за границу, он пишет Жуковскому: «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек! Львиную силу чувствую в душе своей... Если рассмотреть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая, дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которую бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом!» И через год пишет Прокоповичу: «Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа моя. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, я бы благодарил судьбу».

Чернышевский говорит по этому поводу:

«Гоголь был одарен орлиным стремлением к неизмеримой высоте; ему все казалось мало и низко, чего достигал он или что создавал он... Укажите мне человека с такою жаждою совершенства, и я вам скажу: он или не создаст ничего или создаст нечто великое, — он или Тантал, или Прометей».

По этой беспощадной, нестибающейся «взыскательности» к себе, по этой готовности жертвовать всею личною жизнью для достойного осуществления писательского своего призвания— Гоголь представляет явление, не частое среди писателей.

Правда, подобною же жаждою совершенства горели и некоторые другие писатели. Например, французский романист Флобер. Он тоже совершенно не знал личной жизни. «У меня нет никакой биографии», — ответил он, когда у него попросили прислать

его автобиографию. Все он отдал искусству, вне искусства для него не было жизни, он был подлинным мучеником искусства. Работал он по шестнадцать часов в сутки, ночами не Спал, ища одного какого-нибудь слова,

которое бы точно выразило оттенок его мысли. Но для Флобера искусство было самодевлеющей целью. Живая жизнь интересовала Флобера лишь постольку, поскольку она являлась материалом для художественного произведения...

На писательство свое Гоголь смотрел прежде всего, как на «душевное» свое «дело» и как на общественное служение. Никто до него с такою определенностью и бесспорностью не выдвинул у нас утверждения, что писательство есть общественное служение и что конечная цель писателя— приносить «пользу»...

Гоголь... убежден, что «мы» рождены именно для битв и для пользы. «Вспомни, — пишет он другу, — призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований, на битву мы сюда призваны. А потому мы ни на миг не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва».

И в «Авторской исповеди» он пишет: «Автор, творя творение свое, должен почувство-

вать и убедиться, что он исполняет тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время также государству своему, как бы он действительно находился на государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены... Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общество близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы вдали и уединении от всех обсудить, как произвести таким образом свое творение, чтобы доказать, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу». Пусть у писателя «картинная живопись в сло-

ве, орлиная сила взгляда, возносящая сила лиризма, поражающая сила сарказма», — этого всего для Гоголя еще мало. «Если он, — продолжает Гоголь, — при всех великих дарах этих воспитается, как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, — тогда он выступай на поприще».

В до сих пор еще не прекращающейся борьбе поклонников «искусства для искусства» с приверженцами «искусства для жизни» Гоголь безоговорочно занимает позицию, которая вскоре после него стала главенствующею на фронте русской литературы. Он говорит писателю:

«Писатель! Воспитайся прежде всего как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе все будет невпопад». (Письмо к Жуковскому в 1847 г.)

Вот — другая сторона в Гоголе. И если мы теперь возвратимся к тому, что говорили о Гоголе, как человеку, то многое представится нам в другом свете. Да, печально, конечно, но так: Гоголь нередко проявлялся в жизни и как

Хлестаков, и как Чичиков, и как Ноздрев, и как Манилов. Он и сам признавался, как мы видели, что в нем заключалось собрание веек возможных гадостей в таком множестве, в каком он еще не встречал ни в одном человеке. Однако, может быть, если бы этого не было. Гоголь и не сумел бы дать ни Хлестакова, ни других своих героев. Вот какое любопытное признание делает Гоголь: «Прямо скажу все: все мои последние сочинения — история моей собственной души... Я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался изобразить его себе в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся... Не думай, однако ж, после этой исповеди, чтоб я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и стораю им;

но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их».

Чистодушный Плетнев с негодованием пишет о льстивом письме Гоголя к цензору Никитенке. Анненков подробно рассказывает о путях, к которым прибегал Гоголь, чтобы провести сквозь цензуру свои «Мертвые души». «Никогда, может быть, — сообщает он, — Гоголь не употребил в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в этом деле». Но Анненков прибавляет: «Эти меры, конечно, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств».

Наконец, — о подачках, которые Гоголь получал от правительства. Гоголь нуждался жестоко. Он, уже прославленный автор «Ревизора» и «Мертвых душ», часто не знал, чем будет жить завтра. «Я начинаю верить тому, — пишет он Жуковскому, — что прежде считал

басней: что писатели в наше время могут умирать с голоду. Если бы мне хоть такой пенсией, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более, что в Италии жить дешевле». За Гоголя хлопотала придворная дама А. О. Смирнова. Шеф жандармов А. Ф. Орлов спросил:

— Что это за Гоголь?

— Стыдитесь, граф! Вы — русский, и не знаете, кто такой Гоголь!

— Что вам за охота хлопотать об этих голых поэтах! — пренебрежительно заметил Орлов.

А сам царь очень удивился, узнав, что «Мертвые души» написал Гоголь.

— Да разве они его? Я думал, что это Сологуба. Кто тут больше способен вызвать негодование, — огромный ли писатель, решающийся просить у государства содержания хотя бы церковного дьячка, чтобы иметь возможность закончить свой труд, — или эти важные господа, после долгих хлопот удостоивающие подачки «голового поэта»? А нужно еще иметь в виду, что Гоголь был искренней-

шим монархистом, что обращался он за помощью не к ненавидимой им и презиравшей силе, а к благоговеино почитаемой власти.

Как работал Гоголь над своими художественными произведениями?

Гоголь писал по утрам, — об этом свидетельствует и сам он, и все его наблюдавшие. Иногда, впрочем, бывало, что он работал целые дни напролет...

Такая сплошная работа, по-видимому, была у Гоголя исключением, — по крайней мере, во вторую половину его литературной жизни, о которой мы имеем значительно больше сведений, чем о первой. Так работал Гоголь, вероятно, в дни того особенного умственного подъема, который обыкновенно называют вдохновением. Так работал он, напр., в Вене над трагедией «Выбритый ус»...

Однако Гоголь не признавал возможным пассивно ждать вдохновения, он считал необходимую систематическую, изо дня в день, работу...

Очень своеобразна такая особенность Гоголя. «Странное дело, — пишет он в 1839 г. Ше-

выреву, — я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий, и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеченным»...

Гоголь очень любил путешествовать, дорога была для него всегда самым лучшим лекарством от всех его болезней. Дорога же давала ему и новые замыслы. Он пишет Шевыреву: «Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обдελывал в дороге»...

Сушественно важным «для произведения большого и стройного труда» Гоголь считал «высоко-настроенное и спокойное состояние», когда художник имеет возможность подняться выше изображаемой жизни, взглянуть на нее как бы со стороны, «как на совершенно постороннее для него дело». В «Авторской исповеди» он пишет: «Почти у всех писателей, которые не лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображением, — способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были

пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отделимся от предметов, которые описываем... Во все пребывание мое в России, Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась, я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упал, и самое желание знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целою». «О России, — пишет Гоголь Плетневу, — я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде»...

В творчестве Гоголя мы наблюдаем две крупных струи, резко отличающиеся одна от другой, — приподнятый лиризм и безудержный, вцепчивый смех. Струи эти редко сливаются в одно целое, — как в «Старосветских помещиках» или «Шинели». По большей части они идут отдельно, не сливаясь, а только пересекая друг друга...

Однако в двух этих областях Гоголь далеко не равносителен. В области смеха он до сих пор остается непревзойденным мастером не только в нашей, но и во всемирной литературе.

Редко у кого можно найти такое исключительное изящество смеха, такое отсутствие всякой грубости и перегруза, чем часто грешат и Аристофан, и Рабле, и Свифт, и Мольер, и наш Салтыков-Щедрин. В этом отношении Гоголь ничего не потерял и для нашего времени, нисколько не потускнел и не заржавел, и теперь у него учиться можно совсем так же, как учились современники.

Не то в области лиризма. И здесь Гоголь поднимается иногда до вершин мастерства, — напр., в некоторых лирических отступлениях в «Мертвых душах» (знаменитое начало седьмой главы: «Счастливейший путник» или строки о старости в рассказе о Плюшкине), иногда в описаниях природы, напр., в картинах степи в «Тарасе Бульбе», по поводу которых Белинский воскликнул: «черт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя!» Но в общем лиризм — самое слабое место Гоголя, он постоянно срывается в напыщенную риторику, тут у него пропадают свои слова и выдвигаются штампы, всякие «дивный», «чудный», «очаровательный», в обилии рассыпаются чувствительные многоточия и восклицательные зна-

ки. Часто прямо поражает полная беспомощность Гоголя там, где дело идет о выражении интимных переживаний, где нередко нас может захватить своим высказыванием даже человек, никогда и не думавший о писательстве.

Встречая новый 1834 год, Гоголь писал, — и писал не для печати, а исключительно для самого себя (привожу одно окончание): «О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший со своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доньше зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесные очи! Я на коленях! Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О, поцелуй и благослови меня!»

Прямо — для актерского чтения написано. Так и видишь, как актер вдохновенно прости-

рает руки вверх, как опускается на колени и низко поникает головой, и шепчет проникновенно: «Я совершу!» В большой восторг может привести зрителей. Но монолог этот — только из театральной пьесы, подлинного чувства в нем нет и следа.

Или еще. В 1839 году, в Риме, на руках Гоголя умер молодой граф Виельгорский, талантливый юноша, к которому Гоголь привязался в совершенно необычной для него степени. Не отходил, ухаживал, не спал ночей напролет. Сохранились записи его тогдашних переживаний, — что-то в роде дневника на нескольких почтовых листках, которые вел Гоголь. Вот отрывок:

— Голова моя тяжела, — сказал он. Я стал его обмахивать веткою лавра. «Ах! как свежо и хорошо!» — говорил он. Его слова были тогда... что они были!.. Что бы я дал тогда, каких бы благ земных, презренных, этих подлых, этих гадких благ... нет! о них не стоит говорить! Ты, кому попадутся, — если только попадутся, — в руки эти нестройные, слабые строки, бледные выражения моих чувств, — ты поймешь меня. Иначе они не попадутся

тебе. Ты поймешь, как гадка вся груда сокровищ и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол, названных людьми. О, как бы тогда весело, с какою б злостью растоптал и подавил все, что сыплется от могущего скиптра полночного царя, если б только знал, что за это куплю усмешку, знаменующую тихое облегчение, на лице его!»

Конечно, все это искренно, — мы знаем. Гоголь, действительно, тяжело переживал болезнь и смерть Виельгорского. И все-таки — ни одной искренней ноты, ни одного идущего из души слова. Напыщенность, риторика, «ветка лавра», озаглавлено: «Ночи на вилле»...

Когда Гоголь описывает что-нибудь красивое, он по-ученически боится, как бы это красивое не оказалось недостаточно красивым, устраняет все «низкое», громоздит одну превосходную степень на другую. Нарядны и безжизненны в своей красивости его описания природы, — после Пушкина, Тургенева, Толстого и Чехова их просто скучно читать.

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее:

с середины неба глядит месяц; необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее; горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!.. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит: все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине»... и т. д. Вспоминается, что у Чехова начинающий писатель говорит в «Чайке» о беллетристе Тригорине: «У него на плотине блестит горлышко от разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса, — вот и лунная ночь готова. А у меня, — трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом, ароматном воздухе... Как это мучительно!»

Особенно трафаретны и безжизненны образы гоголевских красавиц. Все они на одно лицо...

«Это было чудо в высшей степени... Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вме-

сте. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего не достает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми, блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника. Одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты ее ног в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить» и т. д. Аннунциата из отрывка «Рим».

«Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами... Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез» и т. д. Проститутка в повести «Невский проспект».

Таковы же и все остальные — и Оксана, и Пидорка, и Ганна, и Уленька, — коллекция бонбоньерочных коробок. А вот Толстой, например, не боится описывать Наташу Ростову так: у нее большой рот; «ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки». И однако Тол-

стой умеет сделать Наташу неотразимо очаровательной, и мы верим художнику, что «вино ее прелести ударило в голову князя Болконского». В описании Катюши Масловой в «Воскресении» Толстой все время отмечает ее косящие глаза и это нисколько не вредит ее пленительности.

Столь же стандартны и безъиндивидуальны портреты и мужчин-красавцев, — Левка с «орлиными очами», Андрия: «ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блестели всею яркостью девственного огня и, как шелк, лоснился молодой черный ус».

В боязни повредить красивости своих описаний Гоголь иногда совершенно хватает через край, прибегает к гиперболам, вызывающим улыбку. Заметили ли вы, например, сколько весу в богатыре Тарасе Бульбе? Д-в-а-д-ц-а-т-ь п-у-д-о-в! Да, двадцать пудов. Конец первой главы: «Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст». Такому феноменальному толстяку не с ляха-

ми сражаться, а только показываться за хорошую плату в паноптикуме. Описывая Днепр, Гоголь уверяет: «редкая птица долетит до середины Днепра». На берегах Днепра, как видно, водятся совсем особенные птицы: птицы с других мест долетают при перелетах и до другого берега моря.

Те же гиперболы становятся у Гоголя безукоризненно-уместными, когда величая торжественность покидает автора, и глаза его загораются смехом. «Половой помахивал бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу». «У Ивана Никифоровича шаровары в таких широких складках, что, если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами строениями». «Другой имеет рот в арку Главного Штаба, но, увы, должен довольствоваться обедом из картофеля».

Тут, как по волшебству, оживают и портреты. Ни одного банального признака, два-три штриха, — и готова физиономия во всех ее характерных особенностях. «Прокурор с весьма черными, густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы

говорил: «пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человек, впрочем, серьезный и молчаливый». Знаменитое описание Собакевича: «Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему показался весьма похожим на медведя. Для довершения сходства, фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинные, панталоны длинные, ступнями ступал он и вкривь, и вкось, и наступал беспрестанно на чужие ноги... Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, но просто рубила со всего плеча... и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «живет! Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и, в силу такого неповорота, редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь».

Фигуры ходят и движутся, как живые. «Чичиков непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными поклонами, подходил к той или другой дробным, мелким шагом... Посеменивши с довольно ловкими

поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой, в виде коротенького хвостика или наподобие запятой». Он же представляется Тентетникову: «Окончив речь, гость, с обворожительной приятностью, подшаркнул ногой, обутой в щегольской лайковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговицы, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинового мячика».

В проявлениях своих героев Гоголь отмечает такие тонкости выражения лица и интонаций, которые мало бы кто подметил, а когда они подмечены, то кажется: как же было возможно их не подметить?..

Красавцы и красавицы Гоголя все говорят на один манер, в одинаковом лирически-приподнятом тоне. У каждого из комических героев Гоголя свой особенный, ему одному свойственный язык. Профессор И. Е. Мандельштам в своей книге «О характере Гоголевского стиля» настолько тщательно разработал этот вопрос, что нам остается только привести его наблюдения.

С поразительной рельефностью выступает

в языке Гоголя целый мир живых фигур, освещенных ярким светом, — отмечает Мандельштам. — Всякая фраза, произнесенная всяким из его лиц, показывает нам, кроме идеи, во имя которой художник создал их, сумму свойств, темперамент, — с такою выразительностью, до которой не достигали крупнейшие юмористы. Мы как будто слышим голос их, видим всякие их движения. По некоторым фразам можно угадать всего человека.

Один (Хлестаков) произносит ряд предложений без связи, без смысла. Слова не соединяются даже грамматически. Речь его переносит и его, и его слушателей в среду детей, что-то лепечущих, что-то болтающих; иногда мысль как будто просится наружу, но в голове пусто, хоть шаром покати. Весь запас слов его, в которых может смысл отыскаться, исчерпывается какими-нибудь пятью-десятью словами: он умеет только ругнуть, попросить поиграть в карты, кутнуть, обмануть, солгать, — инстинктивно, произвольно, бессознательно.

Перед нами другой (Собакевич). Речь его определяет характер совершенно исключи-

тельным образом, при помощи подбора двух-трех слов, применяемых ко всем людям без исключения: «вор», «разбойник», «мошенник», «есть один порядочный человек, и тот, если сказать правду, свинья». У него язык поворачивается медленно, уверенно, тяжело, звуки такие, которые не допускают обыкновенного темпа речи, а требуют замедленного: «Гога и Магога», «плечища», «машинища», «а в плечищах силища», — такие слова могут произноситься звук за звуком, ни один не пропадет в тяжеловесности своей. Ни слова лишнего. Все коротко и ясно.

Иной опять стиль у Манилова. У этого господина приторно-слащавый язык, свидетельствующий об отсутствии всякой мысли. У него «магнетизм души», который он «хотел бы доказать», «храм уединенного размышления», «именины сердца»... «Конечно, другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы, в некотором роде, можно бы поговорить о любезности, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...» Что такое со-

вершил Манилов, — незачем знать. Он и без того как на ладони.

Ноздреву говорить некогда, — он вечно действует, а потому и речь его отличается быстротою, разорванностью, отрывочностью, он одним словом хочет выложить целые истории, а в рассказах перескакивает громадные пространства. Мы напрасно будем искать промежуточной дороги и задавать себе вопрос, каким образом переходы мысли совершаются. Из-за слов видны движения; быстрая смена впечатлений выражается быстрыми переходами мысли. Реплики у него всегда мгновенные, вспышками, необдуманно, импульсами.

Коробочка опять ведет свою речь. Это речь тупицы, которая твердит одно и то же, потому что нет доступа никакой мысли, она не может понять того, что ей толкуют. Это язык непроходимого тупоумия.

...Гоголь... до конца жизни ощущал... нетвердость свою в русской грамоте. В 1842 году школьный товарищ Гоголя Н. Я. Проконевич, учитель словесности и очень незначи-

тельный поэт, взял на себя присмотр за печатавшимся в Петербурге собранием сочинений Гоголя. И вот автор «Мертвых душ» пишет учителю словесности: «При корректуре прошу тебя действовать как можно самоуправнее и полновластнее... Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где часто повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо». Просьбу эту Гоголь мотивирует тем, что будто бы переписчик наделал в рукописи много ошибок. А в 1846 г. Гоголь писал Плетневу: «Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, — первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот на-

ставник постулит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или, подобно мне, живописать природу».

Но в течение всей своей жизни Гоголь тщательно, упорно изучал русский язык во всех тонкостях и во всех оттенках слов... Он усердно записывал в записные свои книжки всевозможные редкие слова, провинциализмы, технические термины. До нас, кроме того, дошел составленный Гоголем целый рукописный «Сборник слов простонародных, старинных и малоупотребительных». Материалы для этого сборника Гоголь черпал главным образом из этимологического лексикона русского языка, составленного Рехтфом. Гоголь даже мечтал сам составить и издать «Объяснительный словарь великорусского языка», — нечто вроде того, что мы теперь имеем в виде «Толкового словаря» Даля, столь необходимого для всякого писателя.

И вот при таком-то знании языка Гоголь достиг в его области того, чего ни до него, ни после него не смог достичь ни один из коренных русских писателей.

Петр Петрович Петух заказывает повару обед. «И как заказывал! У мертвого бы родился аппетит. — «Да кулебяку сделай на четыре угла, — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. — В один угол положи ты мне щеки осетра, да вязиги, в другой грешневой кашицы, да грибочков с лучком, да молог сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там такого... какого-нибудь там того... Да чтоб она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то... пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, провяло бы так, чтоб она вся знаешь, этак разтого, — не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал». — Говоря это. Петух присмакивал и подшлепывал губами... Много еще Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: — «Да поджарь, да подпеки, да дай взопресть хорошенько!»

Мандельштам замечает по поводу описанной сценки:

«Эта картинка, изумительная по художественности, переносящая читателя в самую душу заказывающего знатока кулебяки, пред-

ставляет лишь каплю в море подобных картинок; они изобилуют таким богатством оттенков одного и того же понятия, — и все народные до такой степени, что слышишь их будто непосредственно из уст создавшего слова: «и губами причмокивал», «поджарь», «да дай взопреть», «да сделай», «положи», «запусти», «да пусти полегче», «да исподку пропеки», «чтобы провяло ее», «да обложи», «да проложи», «да подбавь», «да подпусти», — никто еще не пользовался таким запасом народных слов, которыми живописует художник, словно красками на холсте, до осязаемости».

Или еще пример. Чичиков раздумывает о судьбе купленных им у Плюшкина беглых мужиков.

«Но вот уж тебя, беспашпортного, поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. — «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, *ввернувши* тебе, при сей верной оказии, кое-какое крепкое словцо. — «Такого-то и такого-то помещика», — отвечаешь ты бойко... — «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник, с *прибавкою* кое-какого крепкого словца... — «Что ж ты опять

врешь?» — говорит капитан-исправник, *скрепивши* речь кое-каким крепким словцом... — «А солдатскую шинель зачем стащил? — говорит капитан-исправник, *загвоздивши тебе* опять в придачу кое-какое крепкое словцо» и т. д.

Вот каким неисчерпаемым запасом слов обладает Гоголь для обозначения одного и того же понятия.

Заменой одних слов другими он заставляет нас чувствовать самую интонацию и характер говорящего. Судья сообщает городничему, что хотел его попотчевать собаченкою. «У меня завели тяжбу два помещика, и я теперь травлю зайцев на землях и у того, и у другого». В ранней редакции городничий отвечает: «*Бог с ними теперь, со всякими зайцами!* У меня в ушах только слышно, что инкогнито проклятое. Так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери, и войдет». В последней редакции: «*Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы!* У меня инкогнито проклятое сидит в голове: так и ждешь, что вот отворится дверь, — и *шасть!*» Много нужно было таланта, — замечает Мандельштам, — чтобы одним

словом «шась» изобразить и самый акт внезапности, и действие от этой внезапности на виновников; выражением «войдет» цель не могла быть достигнута, вследствие большей отвлеченности его.

Замечательно при этом упорство, с которым Гоголь старался избегать всяких иностранных, не русских слов. Они преимущественно встречаются там, где Гоголь хочет усилить комическое впечатление от рассказа. «Дамы города N. были то, что называют *«презентабельны»*. Впрочем, дамы были вовсе не *«интересанки»*. «Ноздрев захлебнул *куражу* в двух чашках чаю, конечно, не без рому». «Позволь, душа, я тебе влеплю один *безе*» и т. п. Вообще говоря. Гоголь тщательнейшим образом заменял при переделках, где только это было возможно, иностранные слова русскими...

Гоголь любит прибегать к провинциализмам и к малоупотребительным словам, но применяет он их с таким тактом и умением, что слово, оживляя речь и делая ее более звучной, совершенно не нуждается в подстрочных объяснениях, чем так часто грешат

другие писатели...

Литературность, далекость от живой речи составляет общий недостаток и общую боль наших писателей. Лев Толстой под конец жизни мечтал о том, чтоб сочинения свои «перевести на русский язык». К языку Пушкина, Тютчева, Тургенева, Достоевского, Чехова неподготовленному читателю нужно долго привыкать. Один только Гоголь, хуже всех их знавший русский язык, сумел достигнуть того, что не суюкая, ни на линию не понижая высоты творчества, сделался доступен самому необразованному читателю. В этом отношении Гоголь — самый демократический из всех наших писателей.

ГОГОЛЬ СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАЛ РЕАЛЬНОЙ РУССКОЙ ЖИЗНИ

(почти невероятное происшествие)

Под таким заглавием С. А. Венгеровым лет двадцать назад была напечатана статья, вызвавшая сенсацию неожиданностью ее утверждений и совершенною их бесспорностью. Венгеров писал: «Автор Ревизора и Мертвых

душ, в которых отразилась, говоря установившимся шаблоном, «вся Россия», на самом деле воочию эту самую Россию, можно прямо сказать, никогда не видел. Знал Гоголь только Малороссию и Петербург».

В 1832 году, осенью. Гоголь повез из дому двух своих маленьких сестер в Петербург для определения их в Патриотический Институт. Под Курском экипаж их сломался, и Гоголь был принужден прожить целую неделю в Курске, — «в этом скучном и немом Курске!» — пишет он Плетневу. Вот — единственный случай, когда Гоголь имел возможность наблюдать русский уездный город. Жил он без знакомых, конечно, в гостинице, и навряд ли мог что-нибудь наблюдать, кроме своего трактира, уличных вывесок и городского сада. (Мы имеем реальное доказательство, что в «Ревизоре» Гоголь описывал как раз Курск и курский трактир...) Кроме того, Гоголь три раза проделал дорогу из Полтавской губернии в Петербург и два раза — из Петербурга в Полтавскую губернию. Обыкновенно спешил, никуда не заезжал и ехал безостановочно. По подсчету Венгерова, итог непосредственного

изучения Гоголем русской провинции таков: двадцать семь дней езды и семь дней в Курске до появления «Ревизора» и двадцать дней безостановочной езды в промежутке между «Ревизором» и отъездом в 1836 году за границу, где и были написаны «Мертвые души».

«Не заезжал Гоголь никогда ни к какому русскому помещику, — пишет Венгеров, — не обедал никогда ни у какого Манилова, не видал, как уписывает бараний бок Собакевич, не ночевал у Коробочки, не бывал никогда ни на каком, столь неправдоподобно у него описанном губернаторском балу, не видел, «как пошла писать губерния», не был никогда свидетелем того, как ведут беседу дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях и т. д., и т. д. Ровно ничего из всего этого, столь типичного, по общему представлению, для русской жизни калейдоскопа лиц Гоголь воочию никогда не видел и не наблюдал. Все создал путем рефлексии и художественного комбинирования, либо в основу своей общерусской типизации положил впечатления малороссийские».

Знание русской жизни у Гоголя, действи-

тельно, крайне незначительно, на каждом шагу встречаются грубейшие промахи как в существенных сторонах быта, так и в его мелочах. По сообщению Аксакова, знающие люди находили, что состав провинциального общества у Гоголя дан совершенно неверно: в «Ревизоре» пропущены стряпчий, казначей и исправник. В «Мертвых душах» тоже ряд существенных неправильностей: председателей двое, полицмейстер лицо ничтожное в губернском городе; крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян (доверенность Коробочки сыну протоппа, доверенность Плюшкина председателю), да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу, и т. п. По поводу «Игроков» знающие люди замечали, что «нынче уж таких штук не употребляют, и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны».

Если быт помещичий и чиновничий все-таки хоть сколько-нибудь был знаком Гого-

лю, то быт купеческий был ему уж совершенно неведом. Мы нигде не встречаем никаких указаний, чтоб он с ним где-нибудь сталкивался. «Женитьбу» свою он написал, по-видимому, исключительно на основании рассказов Сосницкого, Щепкина и, может быть, Погодина. Грубейших промахов в комедии масса. Совершенно невообразимо, чтоб в купеческом быту, полном обрядов и патриархальных условностей, стали играть свадьбу в тот же день, как произошло сватовство, — без стовора, без помолвки, без девишника. Да и священник не имел права венчать людей без предварительного «оглашения» в церкви в течение трех воскресений подряд.

И что это за «русские» фамилии, — Яичница, Земляника, Коробочка, Петух, Сквозник-Дмухановский, Добчинский и Бобчинский, Держиморда, Неуважай-Корыто, Пробка, Доезжай-Недоедешь? Откуда столько украинцев в русской глуши?

Да, все это так. Малое знакомство с жизнью, незнание быта... И однако Островский, с его великолепным знанием купеческого быта, целиком как будто вышел из «Женитьбы»

Гоголя. Помещичьей жизни Гоголь не знал, — и однако в его Собакевиче, Коробочке, Ноздреве, Плюшкине, генерале Бетрищеве, Петухе больше правды о тогдашней помещичьей жизни, чем в повестях и романах писателей, знавших эту жизнь, как свои пять пальцев. Провинциального чиновничества тогдашнего Гоголь не знал, — но мы-то через него знаем это чиновничество, как будто сами тогда жили, — начиная с городничего, почтмейстера, кончая Держимордой и кувшинным рылом Иваном Антоновичем.

Был ли Гоголь по существу своего таланта натуралистом, реалистом или фантастом, создававшим образы, очень далекие от реальной жизни, — этого вопроса мы тут разбирать не будем. Но вся сила и фантастических, скажем, гротесков его была в исключительной яркости мелких совершенно реальных бытовых черт, из которых слагались гротески; круглый подбородок Чичикова, наступающие всем на ноги медвежьи ступни Собакевича, запах Петрушки, засыпанная табаком верхняя губа поветового судьи. Широчайшее знание реальной жизни во всем разнообразии ее

«тряпья, которое кружится ежедневно вокруг человека», было для Гоголя необходимо и гораздо нужнее, чем, например, для Гофмана, Эдгара По или нашего Леонида Андреева.

Сам Гоголь очень хорошо сознавал, что жизнь он знает мало, безмерно мучился этим незнанием и вытекавшим из него бессилием. В одном из писем по поводу «Мертвых душ», напечатанном в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Гоголь говорит: «Я бы желал побольше критик на «Мертвые души» со стороны людей, занятых делом самой жизни. Со стороны практических людей, как на беду, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота; задели за живое многих и насмешкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами, хоть исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее, авось кто-нибудь меня выберит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще

умно! Служащий человек мог бы мне явно доказать неправдоподобность мною изображенного события приведением двух-трех действительно случившихся дел... Мог бы то же сделать и купец, и помещик, словом — всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте, или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышание! Точно, как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то «мертвые души». И меня же упрекают в плохом знании России! Как будто непременно силою святого духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, — без научения научиться; Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званием писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной, и притом еще принужденный жить вдали от России? Какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель: сами читатели. А читатели отказались обучить меня».

Единственные учителя писателя — читатели? Нет! Главный учитель писателя — жизнь. И писатель вовсе не осужден «уже самим званием писателя» на «сидячую, затворническую жизнь». Напротив, звание писателя обязывает его жадно, назойливо, неотклонно изучать живую жизнь, вбуравливаться в ее толщу всеми корешками, не только наблюдать, но, по возможности, и действовать в ней, потому что по-настоящему жизнь познается в действии. Только в таком случае будет плодотворна и затворническая работа писателя в его кабинете, только тогда будет он чувствовать под собою твердую, неувязчивую почву.

Гоголь, как мы видели, был беспощадно требователен к себе когда сидел с пером в руках у себя за столом. Но к живой, реальной жизни его не тянуло, он брезгливо и застенчиво сторонился ее, был неговорлив, нелюдим, чувствовал себя свободно только в тесном кругу друзей, чуть же входил посторонний, — замыкался в себя и замолкал. Даже в дороге, чтоб не разговаривать со своими случайными спутниками. Гоголь, в большинстве

случаев, либо отвертывался от соседа, либо притворялся спящим.

И вот в этом отношении, в смысле непосредственного изучения жизни, требовательность к себе Гоголя была очень невысока. Здесь он не знал той нестигающей беспощадности, какую предъявлял к себе за письменным столом. Преодолеть свою нелюдимую косность, не уставая плавать и нырять в гуща людской жизни, — к этому заставить себя у Гоголя не было ни сил, ни, главное, охоты. Вот как объясняет он в «Авторской исповеди» причины, по которым ему трудно изучать жизнь. Объяснения такие курьезные, что странно даже их опровергать. Очевидно, Гоголь сам перед собою старается хоть как-нибудь оправдаться в своей неспособности и неумении подходить к изучению жизни.

«Два раза, — пишет Гоголь, — я возвращался в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело! Среди России я почти не увидел России. Все люди, с которыми я встречался, большею

частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в английском клубе. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которых трудно ему увидеть людей посторонних (!); во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотвержения, чтоб из него вырваться». (И это серьезно говорит человек, требующий, чтобы писатель всеми самыми дорогими своими интересами жертвовал писательскому своему призванию!) «Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уж готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал... Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь: останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства в городах и деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приоб-

решешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если ж узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положение еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего, что ни есть в человеке, от головы до ног».

Одним словом, куда ни кинь, везде клин: никак невозможно самолично изучать жизнь. Если эти растерянные недоумения хоть сколько-нибудь искренни, то приходится заключить, что Гоголь никогда серьезно и не ставил перед собою задачи изучения жизни, никогда не воспитывал себя в этом направлении, не имел никакой практики в деле, для писателя не менее необходимом, чем самая тщательная работа над своими рукописями.

И вот какой выход надумывает Гоголь. В предисловии ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» он помещает такое обращение «к читателю от сочинителя»:

«Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании ни находился, но если тебя вразумил Бог грамоте

и попалась уже тебе в руки моя книга, я прошу тебя помочь мне... В книге этой много описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле. На всякой странице есть, что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом. Как бы хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знают круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, и после прочтения нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и все, что видел сам или что слышал от других подобного тому, что изображено в моей книге, или ате противоположного тому, — все бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы ко мне всякий лист, по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им вся книга. Какую бы кровную он оказал мне услугу! Я не могу выдать последних томов моего сочинения до тех пор, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую

жизнь со всех ее сторон, хотя в такой мере, в какой мне нужно ее знать для моего сочинения. Не дурно также, если бы кто-нибудь такой, кто способен углубляться в мысль читаемого автора или развивать ее, проследил бы пристально всякое лицо, выведенное в моей книге, и сказал бы мне, как оно должно поступить в таких и таких случаях, что с ним, судя по началу, должно случиться далее, какие могут ему представиться обстоятельства новые, и что было бы хорошо прибавить к тому, что уже мной описано».

Сама по себе идея о таком коллективном сотрудничестве читателей с писателем — идея превосходная и плодотворная. Но во-первых, такое сотрудничество никак не может заменить писателю изучения жизни им самим, а во-вторых — подобная помощь читателя предполагает такую степень культурности и общественной солидарности, какой в то время никак нельзя было ожидать, И Гоголь с грустью сознается в «Авторской исповеди»:

«Я сделал воззвание ко всем читателям «Мертвых душ», — воззвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень

знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять-шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал, собственно, поправок на «Мертвые души»: мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Я думал, что чтение «Мертвых душ» может расшевелить... Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это за тем, — оправдывается Гоголь, — чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявили изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состояния моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России за тем,

чтобы пребывать живее мыслью в России».

И дальше Гоголь отмечает уже приведенную нами выше его особенность, — необходимость отдалиться от предметов, которые он описывает. Пусть так. Но ведь раньше нужно собрать достаточно материала, над которым предстоит работа, только тогда и издали можно что-нибудь увидеть. А если материала нет, то тут мало могут помочь, даже при той гениальной интуиции, какою обладал Гоголь, чужие записки и воспоминания. Поскольку речь идет о нездоровьи Гоголя, — ну, тут, конечно, ничего не возразишь. Но поскольку он уверяет, что «употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть работу», то приходится признать, что Гоголь пренебрег одним из важнейших средств, могших двинуть его работу, — непосредственным изучением жизни.

И в этом как раз лежала одна из причин неудачи, которая постигла Гоголя со вторым томом его «Мертвых душ». Но была еще и другая причина, более существенная.

...Общее... жизнеотношение не могло, конечно, не сказаться и на художественном творчестве Гоголя. Художник не в состоянии скрыть от сколько-нибудь внимательного глаза подлинных своих настроений и чувств, даже если бы всячески старался.

...Прочтите такую сценку из «Мертвых душ». Заезавшийся чичиковский кучер Селифан въезжает своею тройкою в шестерню встречной коляски, лошади перепугались. Собрались мужики, кое-как развели лошадей, но лошади встречной коляски закапризничали и не двигались, как их ни хлестал кучер.

«Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя-Митяй пусть сядет верхом на коренного. Садись, дядя-Митяй!» Сухощавый и длинный дядя-Митяй взобрался на коренного коня. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было: ничего не пособил дядя-Митяй. «Стой, стой! — кричали мужики: — садись-ка ты, дядя-Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя-Миняй». Дядя-Миняй, широкоплечий мужик с

черною бородою, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. — «Теперь дело пойдет, — кричали мужики. — Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутом вон того, солового, — что он корячится как корамора?» Но, увидевши, что дело не шло, и не помогло никакое накаливание, дядя-Митяй и дядя-Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю-Митяю, и дядю-Микю; и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватали, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою».

Что за идиоты!.. Можно совершенно не знать биографии автора, и сказать с полною уверенностью, что сценку эту писал барин-помещик, для которого мужик — голова-туп и ротозей, ничего толком не умеющий сделать и не умеющий связать двух слов. Говорить о нем можно только с снисходительно-пренебрежительной улыбкой и ждать в ответ такой же барственно-снисходительной улыбки читателя. «Да, знаете, что уж с этого

народа спросишь!» Это, конечно, не мешает барину в лирическую минуту с чувством поговорить о «живом и бойком русском уме-самородке», на то он и патриот.

Выписанная сценка — это во всех «Мертвых душах» самое пространное место, где фигурирует «народ». А ведь действие романа происходит в самой глубине России, больше, чем наполовину — даже в деревне. Но мужика барин-автор просто не замечает. Разве только подивится меткости неприличного слова, которым окрестили мужики Плюшкина, да усмехнется, слушая, как косноязычный встречный мужик объясняет дорогу в Маниловку: «Направо это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть, ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет, никакой здесь и не было». Вот и весь народ в «Мертвых душах»...

Революционное движение, охватившее в то время лучшую часть русской интеллигенции (Белинский, Герцен, Бакунин, Петрашев-

ский), вызвало у Гоголя художественный отклик, положивший начало длинной серии клеветнически-реакционных романов Лескова, Ключникова, Авенариуса, Всеволода Крестовского, Болеслава Маркевича и пр.

«В молодости своей, — рассказывает Гоголь во второй части «Мертвых душ», — Тентетников было замешался в одно неразумное дело. Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да не докончивший учебного курса эстетик (намек на Белинского), да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута и масона и тоже карточного игрока, но красноречивейшего человека (видят намек на кружок петрашевцев. — В. В.). Общество было устроено с обширною целью — доставить прочное счастье всему человечеству, от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная; пожертвования собирались с великодушных членов невероятные. Куда это все пошло, знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежащие к классу огорченных людей,

добрые люди, но которые, от частых тостов во имя науки, просвещения и будущих одолжений человечеству, сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией...»

Таков был Гоголь. И такого-то вот человека насмешливая судьба наделила даром едкого, всеуничтожающего смеха, способностью одним взмахом сбивать с лиц благородные маски и обнаруживать под ними подлейшие рожи. А так как в тогдашней России мало было недостойного насмешки, так как подлость и пошлость ходили там в самых благородных масках, то, естественно, смех Гоголя явился силой, бившей в самые основные устои жизни. Глубоко-революционную роль гоголевского смеха хорошо обрисовывает один консервативный русский публицист, не так давно умерший В. В. Розанов:

«Самая суть дела и суть «пришествия в Россию Гоголя» заключалась в том, что Россия

была или, по крайней мере, представлялась сама по себе «монументальной», величественною, значительною: Гоголь же прошелся по всем этим «монументам», воображаемым или действительным, и смял их все, могущественно смял своими тощими, бессильными ногами, так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная каша... Помните ли вы тот разговор Чичикова с генералом Бетрищевым, где упоминается об «Истории генералов двенадцатого года»? Если придвинуть сюда еще «Историю о капитане Копейкине», то оба эти эпизода составят всего несколько страниц великой и грустной поэмы, великой и страшной поэмы: но их впечатление до того неотразимо, что у читающего совершенно ничего не остается от впитанного с детства восторга к Отечественной войне. Труд этого года, страдания этого года и, наконец, *подлинное величие его* — куда-то улечивается. А никакого порицания нет. Нет насмешки, глумления. Страницы, как страницы. Только как-то *словечки поставлены особенно*. Как они поставлены, — секрет этого знал один Гоголь. «Словечки» у него были какие-то

бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезет под череп читателя, — никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок» — словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя какое-то безумие на вас, пока вы не скажете с Гоголем: — «Темно... Как темно в этом мире!..» Тайна Гоголя заключается в совершенной неодолимости всего, что он говорил в унижительном направлении, мнущем, раздавливающем, дробящем: тогда как против его лирики, пафоса и «выспренностей» устоять было нетрудно. Это последнее было просто «так», веяло вне черт его таинственного гения».

Потому-то Гоголь мог, сколько угодно, выражать в «Выбранных местах из переписки с друзьями» самые мракобесные, строго охранительные мнения. Имя его, тем не менее, очутилось на знамени всех, стремившихся к беспощадному разрушению начал, защищаемых Гоголем. Гоголя восторженно приветствовал Белинский. Герцен находил, что «никто выше, чем Гоголь, не приподнял позорно-

го столба, к которому он пригвоздил русскую жизнь». Чернышевский заявлял, что давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России, — и именно по плодотворности своего «критического» направления.

Как относился сам Гоголь к этой разрушительной силе своего смеха?

В апреле 1836 года на петербургской сцене впервые был поставлен «Ревизор». Пьеса имела огромный успех. Одни восторженно ее хвалили, другие яростно ругали: доказывали, что пьеса — клевета на чиновничество, что таких бессовестных и наглых мошенников вообще не существует на свете, что следовало бы комедию запретить, что она подрывает основы общества. Гоголь был очень смущен и огорчен таким отношением к его пьесе. Он писал Погодину: «Что против меня уже решительно восстали все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается.

Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов, — тысяча честных людей сердится, говорит: «Мы не плуты».

Даже благонамереннейший и консервативнейший Погодин был изумлен таким отношением Гоголя к посыпавшимся на него нападкам и писал ему: «Ты сердишься на толки. Ну, как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: «Да нас таких нет!» Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься! Ну, не смешон ли ты?»

Но Гоголь все свое:

«Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель, — пишет он в ответном письме к Погодину. — Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит?

Это говорят мне люди государственные, люди выслужившиеся. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Сказать о плуте, что он плут, считается у нас подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит, в переводе, опозорить все сословие».

Гоголь бросает все и уезжает за границу, чтобы там «размыкать свою тоску». За границей пишет первый том «Мертвых душ», испытывает захватывающие дух восторги творчества. «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек, — пашет он Жуковскому. — Львиную силу чувствую в душе своей...» Весь он живет в своем труде. Но есть в душе одно обожженное место, оно все время горит и напоминает о себе: как бы «частного не приняли за общее, случай — за правило», как бы выведение «двух-трех плутов» не зажгло читателей ненавистью к целому строю, делающему возможным процветание этих плутов. Как говорит в его «Театральном разезде» «очень скромно одетый человек»:

«Пусть парод отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от непонимающих требований правительства, от нехотящих ответственность правительству». И вот перед Гоголем встает задача: как-нибудь нейтрализовать слишком разъедающую едкость своего смеха, за неистовым отрицанием дать некое светлое утверждение.

Приступив к печатанию первой части «Мертвых душ», он пишет Плетневу: «Не судите о «Мертвых душах» по той части, которая готовится теперь предстать на свет. Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится». И Погодину он пишет, посылая отпечатанную первую часть: «Я не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она, в отношении к ним, все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах». Княжне Репниной Гоголь говорил, что первый том — это

грязный двор, ведущий к изящному строению.

Там, когда дойдет дело до этого прекрасного дворца, — там пойдут иные речи, «иным ключом грозная вьюга вдохновения подымет-ся из облеченной в священный ужас и в блистание главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей» (VII гл. первой части «Мертвых душ»).

Этот колоссальный дворец и должны были представить из себя вторая и третья часть «Мертвых душ», в них должен был загреть величавый гром других речей, должны были встать во всей красоте положительные стороны тогдашней русской жизни. В «Авторской исповеди» Гоголь пишет: «мне хотелось в сочинении моем выставить и те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо».

По дошедшим остаткам второго тома мы можем судить, где и у кого усматривал Гоголь эти высшие свойства русской природы. Вот энергичный, весь ушедший в приобретательство кулак-помещик Костанасогло, вот непроходимо-добродетельный винный откупщик

Муразов, вот благороднейший генерал-губернатор, князь, весь горящий чувством гражданского долга и любви к родине. А. О. Смирновой Гоголь сообщал, что будет еще священник, тоже положительный образ. И — конец венчает дело. Архимандриту Федору Гоголь рассказал, чем должна кончиться вся поэма: Чичиков оживет, возродится к новой жизни, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной, прочной жизни должна кончиться поэма.

Картина пронзающей умиленности: кроткий император Николай, милосердием своим возрождающий к новой жизни прохвоста Чичикова; Клейнмихели, Чернышевы и Бенкендорфы, горящие любовью к стране и высоким гражданским долгом; приобретатели-помещики, винные откупщики и мракобесы-священники, указывающие пути к новой, светлой жизни... Вот кого должен был прославить величавый гром новых речей автора «Мертвых душ».

Приведу выдержку еще из одного письма Гоголя:

«Сочинение мое «Мертвые души» должен- ствует обнять природу русского человека во всех ее силах. Из этого сочинения вышла в свет одна только часть, содержащая в себе осмеяние всего того, что несвойственно нашей великой природе, что ее унизило. В остальных частях «Мертвых душ» выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своего характера и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Если только поможет Бог произвести все так, как желает душа моя, то, может быть, и я сослужу службу земле своей, не меньшую, той, какую ей служат все благородные и честные люди на других поприщах. Многие нами позабытое, пренебреженное, брошенное следует выставить в ярко-живых, говорящих примерах, способных подействовать силою. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности».

Знаете, кому это пишет Гоголь? Шефу николаевских жандармов, начальнику Третьего Отделения графу А. Ф. Орлову! В понимании

положительных сторон русской жизни автор «Мертвых душ» рассчитывает сойтись с российским шефом жандармов и у него испрашивает вспоможения на продолжение своего труда, польза которого, по его соображению, будет ясна и графу Орлову.

...Добивайся он выгод от начальства, ему незачем было бы так мучиться и биться над продолжением «Мертвых душ». Требования начальства не были высоки, оно с восторгом принимало даже лубочно-патриотические драмы Кукольника и Полевого, — одобрило бы, конечно, и любую «халтуру» Гоголя. Не для начальства старался Гоголь, добиваясь жизненности и художественной увлекательности образов положительных своих героев. Это было, действительно, его «душевым делом», было гражданским подвигом, совершить который Гоголь считал себя призванным.

Но тем хуже для Гоголя...

И завершается брошюра строками, почти полностью совпадающими с той частью предисловия В. Вересаева к «Гоголю в жизни», где

он высказывает свою точку зрения на автора «Ревизора» и «Мертвых душ».